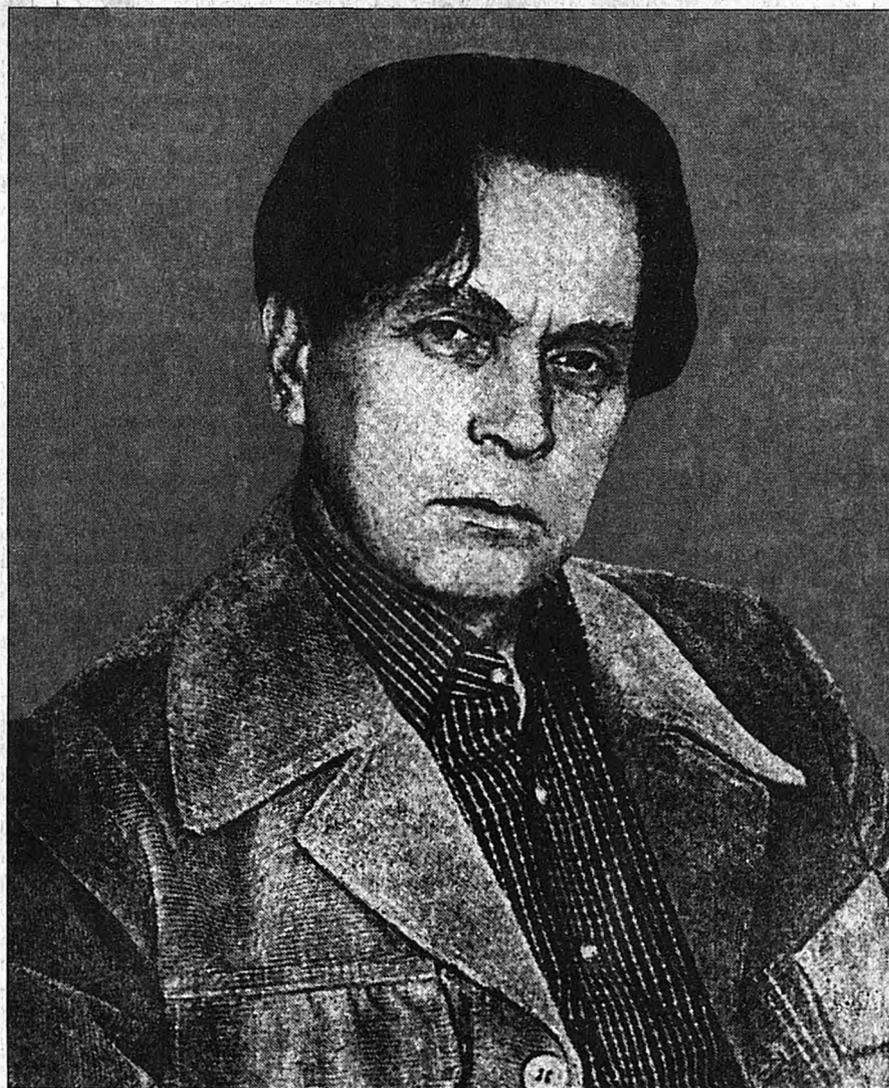


Семидесятник

Восемьдесят лет назад родился Федор Абрамов

Лучшие годы Федора Абрамова — семидесятые. В 1968 была написана вторая часть будущей тетралогии о крестьянской семье Пряслиных — «Две зимы и три лета» (опубликованная десятилетиями раньше первая часть — «Братья и сестры» — обрела признание при свете более ярких продолжений; случай в истории литературы редчайший). В 1969 и 1972 появились сюжетно связанные повести «Пелагея» и «Алька», в 1970 — «Деревянные кони», в 1973 — третий «пряслинский» роман «Пути-перепутья». В 1978 появился последний, ставший завещанием писателя, — «Дом».

В ту пору Абрамов был одним из немногих «беспорных» писателей. Его любила почвенно ориентированная аудитория и соответствующая критика. Но и для оппозиционно настроенных столичных интеллигентов он был «своим». Совсем не случайно «традиционная деревенская» проза Абрамова послужила основой для ярких авангардных театральных постановок — за «Деревянными конями» Юрия Любимова последовали «Дом» и «Братья и сестры» Льва Додина (последний спектакль 5 марта отмечает свое пятидесятилетие и по-прежнему пользуется успехом). Абрамова называл в числе лучших русских писателей изгнанник Солженицын. И к нему вполне благожелательно относилась власть (в 1975 «Пряслины» удостоились Государственной премии СССР). В «Пути-перепутья» с удивительной для того времени прямоотой говорилось о послевоенных репрессиях, в «Доме», кроме прочего, сообщалось без всякого осуждения, что пинежские мужики охотно слушают «клевету» — закордонное радио. Были, конечно, о том же «Доме» отрицательные отзывы в печати (и, понятное дело, выражающие не личную точку зрения критика N), но звучали они — по советским меркам — деликатно. Несопоставимо с тем, что выпадало другому полуптерпимому оппозиционеру, чье лучшее время тоже пришлось на семидесятые, — Юрию Трифонову. Они вообще занимали в тогдашнем культурном раскладе сходное положение. Но сильные, влиятельные (и подчас совсем неглупые) враги Трифонова своей ненависти не таили — противники Абрамова принуждены были довольствоваться намеками. И получалось так вовсе не потому, что Абрамов писал исключительно о крестьянстве. Во-первых, ни в какие «посконно-домотканные» игры писатель не играл, а повествуя о сталинском (и последующем) уничтожении деревни (последствием «врагов» не занимался и к «отдельным недостаткам» дело не сводил. Во-вторых же, иным писателям из круга «Нашего современника» еще как доставалось за «не те» изображения коллективизации и ее последствий. Абрамову же удавалось говорить правду — и обходиться без зримых неприятностей. Незримые, конечно, были.



Как было и горькое прошлое. В 1963 году после публикации повести «Вокруг да около» односельчане писателя, жители той самой деревни Веркола, что постоянно присутствует в абрамовской прозе, ответили ему в областной газете статьей с выразительным названием «К чему зовешь нас, земляк?» Земляк звал к самостоятельности, возрождению чувства хозяина, достойному существованию крестьянина на своей земле. Проинструктированные кем надо подписанты (трактористы, плотники, доярки) сочли это «глумлением над советью, над чувствами советских людей». «Гнев народа» был в данном случае сорганизован особенно подло. Абрамов, конечно, понимал, как такие письма делаются, но легче от того не становилось: лицемерили и клеветали самые близкие люди — его всегдашние герои. Было, надо думать, горше, чем в 1954 году — когда на первой отепельной волне Абрамов напечатал в «Новом мире» антилакировочную статью «Люди колхозной деревни в послевоенной прозе» и тут же был зачислен в очернители, льющие воду на известно чью мельницу. (Статья эта послужила одной из причин перво-

го изгнания Твардовского из «Нового мира».)

Психологические гипотезы — вещь шаткая. Но кажется, что после «отпора» земляков Абрамов должен был вспомнить не только «новомирский» сюжет, но и ленинградский филфак 1949 года. Тогда он — недавний фронтовик, аспирант кафедры советской литературы, партийный функционер факультетского масштаба — выступил одним из главных борцов с безродными космополитами. «Космополитами» были Азадовский, Гуковский, Жирмунский, Эйхенбаум — цвет мировой литературоведческой мысли. Современники свидетельствуют: Абрамов не был антисемитом. Что руководило им тогда: партийная дисциплина? страх? презрение к старорежимным интеллигентным умникам, что занимаются какой-то ерундой и получают профессорские оклады? Вероятно, и последнее тоже. Тогдашний студент, консультировавший Абрамова перед кандидатским экзаменом о творчестве Радищева, запомнил, как тот его одергивал: «Да ты мне лишнего не говори!» Студента звали Юрий Лотман (тоже, кстати, недавний фронтовик), и он

— много лет спустя — не мог заставить себя читать Абрамова.

Известно, что сам писатель крепко помнил о своей вине. Но даже и не будь у нас мемуарных свидетельств, можно было бы догадаться, как мучила Абрамова эта страшная история. Поразительно, насколько мало в абрамовской прозе автобиографическое начало. Фронтовик писал о «войне в тылу». Житель Ленинграда словно не замечал города. Среди абрамовских персонажей не приметны его сверстники. Любимый герой — Михаил Пряслин — на восемь лет моложе автора: подросток в первых — военных — романах тетралогии; юноша — в «Пути-перепутья», где с жесткой тщательностью отображена работа сталинской карательной машины, что с равным успехом изничтожала великих ученых и рачительных, совестливых крестьян (в финале этого романа Мишка тщетно пытается собрать подписи под ходатайством за председателя колхоза, посаженного за то, что роздал зерно голодающим колхозникам). Разумеется, главным здесь было желание воздать должное младшим «братьям и сестрам», рассказать об их незамеченном подвиге и великом страдании. Но было и стремление обойти свою — совсем другую — судьбу, был скрытый счет к себе и своим сверстникам, что смело входили в чужие столицы, но возвращались со страхом в свою.

Он вынес многое. В том числе — мнимое благополучие. И мысль об этом самом мнимом благополучии — уже не личное, но общее — мучила прославленного писателя. Об этом — «Дом», время действия которого — 1972 год, когда в деревнях — спасибо нефтехолларам — наконец-то запахло относительно довольством (серванты, холодильники, мотоциклы и комплект «Роман-газеты»), работа — после исчезновения скреп страха и голода — стала для большинства дурацкой обузой, а семейные связи вдруг утратили свою крепость. 1972 год — год страшных пожаров, пусть бушевавших далеко от абрамовской Пинеги, но ставших знаком беды для всей России. Абрамов увидел этот знак. Уходят в небытие старики, спиваются бывшие фронтовики, гибнет Лизавета Пряслина — и ничего не может со всем этим поделать «брат-отец», хозяин и труженик Михаил Пряслин, на котором до сих пор держалась вся Россия. И никакими дежурными сюжетными ходами (управляющим назначили толкового парня) беды не поправить. В конце семидесятых один из главных писателей той эпохи знал, что эта жизнь — обречена. «Шла запоздалая осенняя гроза, и Михаил вдруг вспомнил отца, его последний наказ: «Сынок ты понял меня? Понял?» Тридцать лет назад сказал ему эти слова отец. Сказал в тот день, когда уходил на войну, и тридцать лет он ломал голову над ними, а вот теперь он их, кажется, понял...» Через пять лет — в 1983, на самом исходе чреватого катастрофами «тихого» времени — Федор Абрамов умер.